

A full-page background image of a winter scene. In the center, a small, dark wooden cabin with a snow-covered roof sits in a snowy clearing. A warm, orange light glows from a window on the left side of the cabin. The cabin is surrounded by numerous tall, dark evergreen trees heavily laden with snow. In the background, more snow-covered hills or mountains are visible under a dramatic, overcast sky with dark, swirling clouds. The overall color palette is dominated by blues, greys, and whites, with the warm light from the cabin providing a focal point of contrast.

Анна Воскресенская

Остров на время

Анна Воскресенская

Остров на время. Книга 2

«Автор»

2026

Воскресенская А.

Остров на время. Книга 2 / А. Воскресенская — «Автор», 2026

Вторая книга цикла. 1907–1909 гг. Вера Лагодина едет в Никольское не за счастьем. Она едет к себе – туда, где можно начать заново. В глуши, где один доктор на целую волость, ее ждет работа, новая жизнь и человек, которого она не может забыть. Илья – уже не тот студент, которого она помнит по Москве. Он – земский врач, привыкший в одиночку бороться со смертью. Они живут под одной крышей, связанные легендой о «дальнем родстве», чтобы выжить в условиях деревенских пересудов и земской бюрократии. Дистанция в три шага, тишина вместо разговоров и забота в простых бытовых мелочах. Вере предстоит понять: как быть рядом с человеком, который боится сделать тебя счастливой, чтобы не сделать уязвимой? Это история о медленном, трудном сближении двух людей, которые разучились быть не одни. О любви, которая рождается не из признаний, а из ежедневного выбора. На фоне сурового быта русской деревни и земской медицины начала века. Для тех, кому важны живые люди, а не картонные страсти.

© Воскресенская А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Переход	5
Ожидание	11
Первый урок	15
Сгоревшая картошка	22
К	30
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Анна Воскресенская

Остров на время. Книга 2

Переход

Поезд прибыл в Сызрань с опозданием на три часа, когда солнце давно скрылось за заснеженным горизонтом. Паровоз замер под высоким навесом дебаркадера. Из открытой топки летели редкие красные искры и сразу гасли в грязном, перемешанном с углем снегу на платформе.

Вера сошла на перрон. Чемодан она взяла в правую руку, окованный по углам дорожный сундук подхватила левой – и сразу почувствовала, как железные ручки болезненно врезаются в пальцы даже сквозь перчатки. Сундук был невелик, но неподъемен: внутри лежали граммофон, несколько книг, одежда. Она шла, и через каждые двадцать шагов ей приходилось останавливаться, чтобы перевести дух и перехватить тяжелую ношу. Чемодан бил по ноге, мешал идти, но она лишь стискивала зубы и двигалась дальше к вокзальным дверям.

Людской поток подхватил ее и понес. Сызрань была крупной узловой станцией – здесь пересекались дороги на Москву, Самару и Симбирск. Мимо тянулись пассажиры: купчиха в тяжелой лисьей шубе, которую почтительно поддерживал под локоть молодой приказчик; мастеровой с деревянным сундучком; мещанская семья с детьми, испуганно озирающимися на огромные колеса паровоза. Несколько артельных носильщиков, громко переключаясь, протащили мимо Веры чьи-то тяжелые лари. Пробежал дежурный по станции с фонарем, крикнув что-то кондуктору. Все вокруг спешили – кто в буфет, кто к выходу, кто к извозчикам, – и Вера двигалась вместе с ними, стараясь не затеряться в толпе.

Мысли, еще недавно метавшиеся в голове, теперь улеглись. Навалилось странное, безразличное спокойствие. Она не знала, куда идет, но упрямо шла ровным шагом вперед, не оглядываясь – будто ноги знали дорогу.

Внутри вокзала было теплее, но ненамного. Высокие своды из красного кирпича, тусклые керосиновые лампы под потолком, запах угольной гари, табака, мокрой овчины и кислых щей из буфета. Эхо шагов металось между стен, дробилось и множилось. У билетной кассы стояла короткая очередь – три человека, по виду мещане. У выхода на площадь дремал жандарм, привалившись к косяку. Никто не посмотрел на Веру. Никто не окликнул.

На площади было темно и ветрено. Керосиновые фонари горели редко, их блеклый свет терялся в снежной мгле. Вдоль края тротуара, у придорожных тумб, выстроились городские извозчики на зимних санях, укрытых медвежьими полостями. Один из них двинулся было навстречу Вере, но она, даже не взглянув, прошла мимо, к самому краю площади, где у забора жались приехавшие из сел крестьянские розвальни. И остановилась. Ноги вдруг перестали идти.

Там, у последнего столба с тусклым рожком, стоял старый крестьянин в заиндевевшем полушубке. Он курил самокрутку, прикрыв лицо от ветра высоким воротником. Лошадь – мохноногая, лохматая – фыркала, роя копытом плотный снежный накат. Заметив ее тяжелую ношу, старик вынул самокрутку изо рта. Он не окликнул ее первым. Просто подождал, пока она остановится перед санями, и только тогда кивнул, хрипло, но деловито:

– Куда везти-то, барышня? Невмоготу стоять, застыл весь. На проселок?

– До Никольского, – сказала она. Голос прозвучал ровно, без дрожи, будто она просто называла дорогу, которая была известна им обоим.

Извозчик оглядел ее с ног до головы – дорожный сундук с медными углами, кожаный чемодан, легкое городское пальто, которое здесь, на пороге ледяной пустыни, казалось беспо-

лезным. Взгляд его был оценивающим: не барыня, но и не простая. Работа предстояла дальняя, ночью, в метель.

– Дорого, матушка. Сорок верст, да в ночь... И на обратном пути порожним идти придется. Пять целковых.

Пять рублей – почти ее недельный заработок в библиотеке. Она посмотрела на его спокойное, обветренное лицо, на руки в толстых рукавицах. Молча достала из кармана кошелек, отсчитала хрустящие кредитки. Если ужаться и не считать плату за жилье, на них можно было прожить недели две в Москве. Здесь, перед этой бездонной снежной равниной, бумажки казались легкими и ненужными.

Она забралась в сани, укутав ноги пахнувшей сухой травой рогожей. Полозья натужно заскрипели, лошадь рванулась вперед. Огни вокзала мгновенно погасли за спиной, проглоченные зимней мглой.

Когда метель над полем немного улеглась, открылось небо. Оно было черным, глубоким, как колодец, уходящим в такую бесконечность, что кружилась голова. Крупные зимние звезды не мерцали – они горели над степью ровным, беспощадным светом.

Впереди, насколько хватало глаз, расстилалась белая равнина. Ни огонька, ни деревца, ни дымка из трубы. Только снег, уходящий за горизонт – не рыхлый, московский, а плотный, слежавшийся, тускло поблескивающий под звездами. Снег под полозьями не скрипел, а тонко и протяжно ныл. Изредка попадались верстовые столбы – покосившиеся, почти неразличимые в темноте, они возникали из мрака и уплывали назад, в прошлую жизнь.

Мороз был сухим, звонким, каждый вдох отдавал в груди острой свежестью. Ресницы заиндевели, край шерстяного шарфа, которым она укутала лицо, покрылся инеем от дыхания. Но этот холод не пугал – он отрезвлял, выветривал из нее тревогу, что копилась последние месяцы.

Извозчик молчал. Иногда он понукал лошадь – негромко, вполголоса, как будто боялся нарушить тишину. Лошадь фыркала, из ее ноздрей валил густой пар, и этот пар казался единственным теплом на много верст вокруг. Вера смотрела на широкий круп, на мерно качающуюся голову в заиндепевшей сбруе, и это ритмичное движение успокаивало.

Дорога заняла почти семь часов. Иногда она проваливалась в странное оцепенение – не сон, не бодрствование, в котором мысли растворялись, уступая место образам. Москва. Мать. Илья. Лицо Сергея в свете лампы. Все это казалось далеким – будто происходило с кем-то другим.

Один раз они остановились – старик слез, размял ноги, достал из-под сиденья какую-то тряпицу и развязал. В ней оказались краюха ржаного хлеба, две луковицы и крупная серая соль в обрывке газеты. Он протянул половину ей – молча, не глядя, просто сунул в руки и отвернулся к лошади.

– Ешь, барышня. Долго еще. Замерзнешь.

Она съела. Хлеб был слегка черствым, но вкусным, лук – острым, обжигающим. Просто хлеб, просто лук, на морозе, под звездами, в сорока верстах от всего, что она знала.

Они снова тронулись. Луна к тому времени поднялась выше, и снег засиял – не отраженным светом, а собственным, голубоватым. Тени от саней, от лошади легли на белую целину длинными синими полосами.

Когда впереди наконец показались первые избы – темные, приземистые, – Вера не почувствовала облегчения. Она поняла, что заканчивается что-то важное. Эти семь часов в ледяной пустыне провели невидимую черту. Назад пути не было, и новая жизнь начиналась прямо сейчас, за этим поворотом.

Старик обернулся через плечо, придерживая заиндепевшую бороду рукавицей.

– Куда теперь, барышня? Тут развилка: прямо – на село, а вправо – к земской амбулатории. Доктор-то на отшибе живет, у леса.

Вера на мгновение замерла. Сердце испуганно и часто заколотилось в груди. Она не знала, чего боится больше: что он там или что его там нет.

– К амбулатории, – сказала она. Голос, к ее собственному удивлению, прозвучал ровно.

Извозчик кивнул, будто и не сомневался, и тронул вожжи. Сани свернули вправо, в проулок, обсаженный голыми, заиндеветыми деревьями. Деревня спала – ни огонька, ни звука, только далеко на краю брехала собака, да и та умолкла, словно поперхнувшись собственным лаем. Но скрежет полозьев по насту казался оглушительным – он разносился по всей округе, бился о стены изб, возвращался глухим эхом. Вере чудилось, что сейчас из каждого двора выйдут люди, чтобы посмотреть, кого принесло в такую ночь. Но никто не появился. Только тишина после каждого толчка сгущалась еще плотнее, как будто деревня настороженно слушала.

Нужная изба показалась неожиданно – низкая, со светлым дымком из трубы и занесенным снегом палисадником. В окне горел свет.

Извозчик выгрузил сундук и чемодан прямо у калитки, поставил на притоптанный снег, крикнул, размашисто перекрестился на дорогу – и уехал в ту же тьму, не оглядываясь. Скрип полозьев стихал медленно, нехотя, и когда он исчез совсем, Вера поняла: теперь – все. Она одна. В чужой деревне, перед домом человека, который, может быть, уже и не помнит ее.

Она не вошла в калитку сразу. Постояла минуту, прижав ладонь к груди, чувствуя, как под пальцами часто и неровно колотится сердце, отдаваясь тупым стуком в самом горле. Мороз обжигал щеки, забирался под пальто, но она не двигалась. Смотрела на темный силуэт яблони у забора, чьи голые ветви в инее походили на оленьи рога. На заиндеветую крышу сарая, откуда доносилось ровное, глубокое похрапывание лошади. На желтый квадрат окна. Это была ее новая реальность, куда она сама себя привезла – на последние деньги, с единственным сундуком и единственным именем в сердце.

Вера оставила вещи у калитки. Зачем-то поправила шерстяной платок, одернула пальто. Потом толкнула калитку и вошла во двор.

Стук в дверь прозвучал глухо, по-деревенски – она ударила прямо в жесткий, промерзший войлок. Звук вышел тяжелым, ватным, уходящим в толщу дерева. И в наступившей тишине ей вдруг показалось, что никто не откроет. Что она приехала зря, что Илья уехал, или никогда здесь не жил.

Но шаги раздалась. Засов лязгнул. Дверь открылась.

И она не узнала его.

Перед ней стоял мужчина – старше, резче, суше того юноши, которого она помнила по московской читальне. Лицо его осунулось от постоянного недосыпа, каштановые кудри были коротко сострижены, почти под гребенку, отчего лицо казалось по-солдатски суровым. На левом предплечье, поверх наспех засученного рукава белой рубахи, темнела холщовая повязка, аккуратно завязанная узлом. Свежий порез; может, скальпель сорвался, может, осколок аптечной склянки. Но повязка была чистой, и это говорило о нем больше, чем любые слова.

Взгляд его, встретивший ее, был уставшим. Но когда Илья увидел, кто стоит на пороге, в его глазах что-то дрогнуло.

– Вера? – произнес он тихо, почти беззвучно, будто проверяя реальность звука.

– Здравствуй, – сказала она. Собственный голос показался ей чужим – слишком ровным и спокойным для того, что творилось у нее внутри.

Он машинально отступил вглубь сеней, пропуская ее.

– Я приехала работать, – произнесла она, шагнув через порог.

Воздух в сенях ударил в лицо – густой и сложный. Деготь от полозьев, кисловатый дух овчины от тулупа на гвозде и простое мыло, которым он, должно быть, только что мыл руки. И над всем этим, намертво перебивая остальные ноты, царил резкий, неумолимый запах кар-

боловой кислоты. Запах его нынешней жизни. Вера вдохнула его и на мгновение замерла – не от отвращения, а от острого узнавания. Этот запах теперь окружал ее со всех сторон.

– Учительницей в школе. Меня назначило земство.

Он кивнул, закрывая за ней тяжелую дверь. Не спросил почему именно сюда. Не сказал что не звал и не просил. Он заговорил ровным, почти канцелярским тоном, от которого у нее сжалось сердце:

– Тебе сообщили, на каких условиях? Избу учителя после беспорядков пятого года так и не отстроили. Школа – это угол в церковной сторожке, печь там плохая, в окнах зазоры в палец толщиной. Топить, мести, ремонтировать – своими силами. Жалованье земство платит двадцать пять рублей в месяц, но с задержками. Иногда староста или родители могут поленьев подкинуть, продуктов. Из книг – только буквари, Закон Божий да пара драных задачник-ков. Дети зимой ходят урывками: кто в лаптях, набитых соломой, кто в опорках на босу ногу. Готовься не учить, а отогревать.

Она слушала его, и с каждым словом тяжелое напряжение в спине медленно отпускало. Все, о чем он говорил, было трудно. Почти невыносимо. Но это была правда.

Она встретила его взгляд спокойно и твердо.

– Я знаю. Мне писали из земской управы.

Она говорила без вызова, ровно, возвращая ему его собственную сдержанность.

Он медленно кивнул, опустив взгляд на ее потертые, но аккуратно прошитые валенки. Этот кивок означал, что он все понял: она приехала не к нему – к своей работе, своей выбранной судьбе.

– Что ж, – сказал он наконец, голос его смягчился на полтона. – Заходи.

Он повернулся, чтобы закрыть внутреннюю дверь, но рука его заметно дрогнула. Илья быстро сжал пальцы в кулак, пряча эту внезапную слабость, и посторонился, приглашая ее войти.

Изнутри изба оказалась просторнее, чем выглядела снаружи. Горница, служившая и кухней и столовой, была освещена керосиновой лампой под жестяным абажуром. Свет падал неровным желтым кругом на стол, оставляя углы в густой тени. В этом круге лежала помятая брошюра «О пользе оспопрививания» – рядом с тоненькой, зачитанной до дыр книжкой в сером переплете – «Руководство по хирургии для фельдшеров». Тут же темнели аптечные склянки с притертыми пробками; на одной, из глухого коричневого стекла, белел ярлык с казенной надписью «*Tinctura opii simplex*». Книжка лежала корешком вверх, раскрытая на странице с описанием техники ампутации пальца.

Она невольно повела плечами. В горнице было теплее, чем в сених, но ненамного: дыхание все еще стелилось белым парком. Тело, семь часов пробывшее в ледяной пустоте, колотилось от крупной, чисто физической дрожи.

Большая печь в углу еще дышала скупым теплом. На коврике у печи, свернувшись в тугой клубок, спал черно-белый кот. Он даже не поднял глаз, будто ее появление не нарушало привычного течения здешней жизни. Полки над столом были уставлены банками с травами, настойками, йодом – и одна, отдельно, под висячим замком, с этикеткой: «*Мышьяк. Не трогать!*» За печью был кухонный уголок: стол, два шкафчика с плотно закрытыми дверцами, бочонок с водой, прикрытый мешковиной, чтобы не замерзла. Тут же стояла жестяная раковина-умывальник на треноге. Все здесь было аккуратное, суровое, подчиненное не уюту, а необходимости.

– Есть свободная комната, – сказал он, указывая подбородком на дверь слева. – Она не для гостей. Акушерка должна была быть, но не прислали. Я ее не использую. У тебя, наверное, есть вещи?

– Да. У калитки.

– Принесу, – коротко бросил он и, накинув на рубаху тулуп, висевший на гвозде, снова вышел в холод.

Вера толкнула дверь слева и вошла.

Пустота комнаты, которую готовили для кого-то, кто так и не приехал. И особый, застоявшийся холод нежилого помещения. Стены, побеленные известью, без единой картины или образка. Узкая кровать, тонкий тюфяк, свернутый в рулон у изножья. На стене – единственный гвоздь с пустой вешалкой. На полу, у двери, темнело пятно: когда-то пролили воду, и доски вздулись. Одно маленькое окно, занавешенное плотной, выцветшей синей тканью, а в форточке – квадрат зимнего, звездного неба.

Она подошла к окну, коснулась пальцами занавески. Ткань была грубой, холодной. В Москве у нее на окне висел ситец в мелкий цветочек, выцветший от солнца, но живой. А здесь – только этот синий отрез.

Она села на кровать. Доски скрипнули так резко, что Вера вздрогнула.

Илья вернулся с ее сундуком и чемоданом, поставил у кровати – молча, не глядя.

– Ты останешься? – спросил он, уже стоя в дверях и полуобернувшись к ней.

– Если можно, – сказала она. Против воли в голосе прозвучала неуверенность. Сейчас, в этой ледяной глуши, все ее бегство из Москвы казалось безумием.

– Можно.

Они помолчали.

– Ужинать будешь? – спросил он.

– Нет, спасибо.

– Тогда... спокойной ночи... – Он помолчал, словно хотел добавить что-то еще, но не добавил. – Чайник на печи, если передумаешь. Вода – в бочонке на кухне, не замерзла еще. Еда – под полотенцем. Ложись. Утром будем думать, как быть.

Помолчал, потом добавил:

– Завтра придет моя помощница – Аглая Ильинична. Местная, прежняя земская акушерка, теперь на покое. Помогает, чем может. Она тебе покажет все. Без нее к людям лучше не ходи – не примут.

Он ушел. Дверь закрылась плотно, без скрипа.

Вера осталась одна. И только тогда, в полной тишине, нарушаемой лишь потрескиванием дров в печи за стеной, ее накрыл настоящий страх перед тем, что она совершила.

«Он стал совсем другим, – думала она, глядя в темноту. – Где тот юноша из читальни? В его глазах больше нет прежних книг и разговоров. Там только тишина и чужая боль. Зачем я приехала? Не стану ли я для него обузой – еще одним долгом, от которого не отвертеться?»

Она поднялась, тихо вышла в горницу, принесла воды в жестяном ковшике, наполнила рукомойник. Умылась, резко, до боли в скулах растирая лицо ледяной водой. Вытерлась своим полотенцем – потертым, но чистым, с аккуратно вышитой в уголке буквой «Л.» Материнская метка. «Даже в бедности надо помнить, кто ты», – говорила мать.

Потом разложила на кровати простыню, подушку в наволочке из грубого полотна и добротное шерстяное одеяло. Эти вещи были всем, что связывало ее с прежним домом.

Вера достала большой шерстяной платок, набросила на плечи. Остальные вещи распаковывать не стала. Просто легла, укрылась с головой и задула свечу.

Изба пахла сухим деревом, смолой, дегтем, полынью и едкой карболкой. Это был запах средств защиты: от моли, от сырости, от чужой заразы. Но сейчас, в темноте, он почему-то казался надежным, как крепостные стены.

За стеной стояла тишина. В Москве никогда не бывало такой пустоты – там всегда слышен гул города, даже ночью. Здесь же тишина казалась абсолютной, и в ней слышалось каждое движение ее собственного тела: стук сердца, шорох простыни, даже дыхание.

За стеной негромко скрипнула половица. Илья тоже не спал. Вера слушала, как он ходит по горнице, как звякнула о стол кружка, как лениво вздохнула печь, оседая углями. И в этих скупых звуках чужого бодрствования ее сердце постепенно выравнивало ход, забилося спокойнее.

Они оба были здесь. Оба молчали в этой огромной холодной глуши.

Она закрыла глаза. За окном в темноте продолжали кружиться мелкие снежинки, ложась на крышу сарая, на голые ветви яблони, на бескрайние, уходящие в ночь поля.

Ожидание

Рано утром, сквозь сон, Вера услышала фыркание лошади, скрип саней, короткий, приказной голос:

– Ну, пошла!

Она не встала. Лежала, пока звуки не растворились вдали. Скрип полозьев стих, и тишина вернулась. Только тогда Вера поднялась. Умылась холодной водой из рукомойника – кожа на руках покраснела, пальцы на минуту потеряли чувствительность. Оделась. Закрепила волосы большим костяным гребнем.

В горнице было тихо, тепло от печи, пахло дровами и сушеными травами – мятой, зверобоем, и горьковато – полынью.

На столе – аккуратно сложенная записка:

«Уехал на вызов в Волчицу (оспа). Вернусь к вечеру.

Если Аглая Ильинична не пришла – еда в горшке, хлеб в ларе.

Сегодня зайду к старосте – насчет школы.

Пока оставайся в доме.

И.»

Она не улыбнулась. Но руки перестали дрожать.

Вера распаковала свою чашку – белую, с тонкой синей полосой и маленькой, почти незаметной трещиной у края, подарок матери. Заварила чай из трав, что стояли в банке на полке. Съела немного гречневой каши из горшка – она была чуть теплой, загустевшей, отрезала ломоть хлеба. Масло искать не стала – не хватило духу рыться в чужих запасах, брать то, на что не заработала.

Черно-белый кот вынырнул из-под печи, беззвучно подошел и потерся мордой о ее ботинок. Она машинально наклонилась, провела ладонью по его спине. Шерсть была короткой, жесткой, но теплой, живой. И впервые с момента приезда она позволила себе вдохнуть глубоко, до конца.

Потом прошлась по горнице, заглянула в кухонный угол, приоткрыла дверь в амбулаторию – пахло резко карболом, йодом и еще чем-то медицинским, чужим. Посмотрела в заиндевевшее окно на двор. Все еще казалось сном.

«Как я могла так поступить? – думала она, глядя на свои руки, лежавшие на грубо сколоченном столе. – Зачем я приехала? Без зова. Без предупреждения. Зная, как он живет. Зная, какое у него непомерное чувство долга. Он не выгонит. Никогда. А если выгонит? Куда я тогда? В управу? К старосте? Он написал: Оставайся. Как диагноз. Как рецепт. И от этого легче. И от этого страшнее».

В десятом часу раздался стук в дверь – негромкий, но уверенный. На пороге стояла женщина лет сорока пяти, с лицом городского склада – умным, уставшим, но не озлобленным, – одетая в теплый тулуп и шерстяной платок, повязанный по-деревенски, крест-накрест. За ней стояли небольшие сани-розвальни, груженные охапкой дров.

– Здравствуйте! Я помощница доктора, Аглая Ильинична. Илья Андреич на выезде, но утром заскакивал – сказал, чтобы я вам помогла обустроиться.

Вера смутилась:

– Здравствуйте. Я Вера... дальняя родственница... Ильи Андреевича.

– Так, – Аглая Ильинична сняла платок, повесила на гвоздь у двери. – Он сказал: «Помоги, мол, как своей». Так и будем считать. Пойдемте, покажу, как печь топить и еду ставить, а то здесь без привычки и огонь не развести, и обед можно сжечь.

Она не расспрашивала, не лезла в душу, не смотрела пристально, но говорила легко, без подобострастия:

– Вы, верно, из губернского? А у нас тут все просто: печь – душа дома. Остынет печь – и в доме, и в душе холод.

Она показала все обстоятельно, без суеты:

– Дрова берем осиновые да березовые, сухие, колотые вдоль волокна. Растопка – береста, она лучше всего горит, или старые газеты, если есть. Заслонку открывайте не сразу, а как огонь схватится хорошо, иначе задушите. Горшок ставьте не в устье, где жар, а на под, с краешку, иначе каша пригорит, а щи убегут.

Вера слушала внимательно, запоминая каждое слово, но в голове, поверх этих инструкций, звенела одна мысль: «Он успел. Всего за утро, перед выездом к больным, он нашел Аглаю Ильиничну, все устроил и уберег ее от первых глупых расспросов. Даже не спросив ее согласия, просто принял решение – как врач, который знает, что медлить нельзя. И эта спасительная выдумка про родственницу уже пустила корни. Раз он назвал ее "своей", значит, теперь она под защитой».

Аглая Ильинична тем временем болтала дальше:

– Прихожу по вторникам и субботам. Печь ставлю, ежели не поставлена, в субботу баню топлю – она у нас черная, по-старинке, дымом, – ему не доверю, угорит еще, за делами своими. Белье стираю все, кроме нательного – то он сам стирает, чтоб заразы не было. Готовлю на два-три дня. Раз вы приехали – теперь, гляди, и он поест как надо. А то вернется с выезда – и сразу больные ломаются. Так и ест между делом, сухомыткой.

Она говорила просто, без осуждения: доктор был весь здесь, в этой глуши, и его собственные нужды в этой суровой системе никого не занимали.

Когда Аглая Ильинична ушла, оставив на столе свежее испеченный каравай ржаного хлеба, Вера вышла во двор – просто глотнуть воздуха, осмотреться и до конца ощутить: да, все это вправду.

Воздух был таким холодным, что, казалось, легкие покрываются инеем при каждом вдохе. Она плотнее запахнула пальто – городское, с кроличьим воротником и зимней стеганой подкладкой, верно служившее ей не один год, – а сверху поправила шерстяной платок. Но даже вместе, даже надетые одно поверх другого, они не спасали. Пальцы в перчатках онемели сразу, хотя она вышла всего на минуту.

Дом снаружи казался еще беднее, еще проще. Беленые стены, почерневшая от времени и дождей крыша из теса. Окна – маленькие, как прищуренные глаза, затянутые изнутри изморозью. Дверь – крепкая, на железном засове. Сарай, где стояла его лошадь, был пуст, лишь пахло сеном и слегка – навозом. Баня – низкая, курная, – молчала, ждала субботы. У забора росли заросли смородины, видные по характерным изгибам ветвей под снегом. А под окном его комнаты – яблоня, голые ветви ее постукивали по заиндевавшему стеклу, тихо, настойчиво, словно пальцы.

Вера сделала несколько шагов к калитке, оглядела окрестности. Деревня лежала перед ней, укрытая снегом, – десятка два изб, разбросанных вдоль замерзшей речушки. Избы стояли далеко, на приличном расстоянии от дома доктора. Ни души. Ни звука. Только дым из труб поднимался прямо вверх, застывая в морозном воздухе серыми столбами.

Она постояла еще пару минут, вглядываясь в этот бескрайний простор, и вдруг ее пронзило странное, почти физическое ощущение: она не одна. Не в смысле присутствия – вокруг не было ни души, и избы стояли слишком далеко, чтобы кто-то мог за ней следить. Но морозный воздух, казалось, разносил звуки на много верст. Ей почудилось, что она слышит, как скрипнула дверь, как кто-то кашлянул за поленницей, как обрывок разговора пролетел над снегом и растаял. Эти звуки были слишком далекими, слишком призрачными, чтобы быть реальными, – но кожа уже покрылась мурашками не только от холода.

Деревня, еще не видя ее в лицо, уже прислушивалась к ее шагам. Весть о приезде пришедшей женщины в дом к холостому доктору невидимо, но неумолимо расплзалась по избам,

порождая первые глухие пересуды. И от этого безмолвного, невидимого любопытства воздух вокруг казался еще более холодным, а тишина – невыносимой.

Незнакомая городская женщина поселилась у доктора. Это было нарушением всех неписаных законов, и деревня уже начала выносить свой приговор – пока еще только в мыслях, пока еще только в этих призрачных звуках. Они не выйдут, не окликнут, не спросят. Они будут ждать. И молчать.

Холод пробрал ее до костей. Она быстро, почти бегом, вернулась в дом. Дверь захлопнулась за ней с глухим стуком.

В сенях она прислонилась к косяку, растирая закоченевшие руки. Внутри было тепло, но озноб не проходил – уже не от холода.

«Они смотрят, – подумала она. – Они уже знают, что я здесь. И они будут судить. Не меня – его. Я – чужая, пришлая, а он – свой, доктор, единственная надежда...»

Вера разделась, повесила пальто у печи, чтобы просохло. Подошла к окну, но отдернула руку – стекло было ледяным. Через мутный, заиндевевший прямоугольник она видела только смутные силуэты домов вдали и черные ветви яблони.

Кот, названный ею про себя Тишкой за молчаливость, снова вышел из своего убежища, потерся о ноги, требовательно мяукнул. Она налила ему молока из крынки, что нашла в кухонном шкафу. Кот лакал жадно, и этот простой, живой звук немного успокоил.

Оставшаяся часть дня тянулась мучительно медленно. Вера перебирала вещи в сундуке, раскладывала книги на подоконнике – пусть хоть кто-то видит, что она учительница, что у нее есть дело, что она не просто... Она не знала, как назвать то, кем она здесь могла показаться.

Несколько раз она подходила к окну, но выходить больше не решалась. Мороз стоял лютый – градусов под тридцать, а то и больше. Деревня замерла в белом безмолвии, и только дым из труб напоминал, что здесь живут люди.

К вечеру печь начала остывать. Вера подбросила еще дров, вспоминая наставления Аглаи Ильиничны, и села за стол с книгой – «Записки охотника», те самые, с его пометками. Читала и не читала – строки скользили мимо, не задерживаясь в сознании. Прислушивалась. К шагам за окном, к скрипу снега, к любому звуку, который мог бы означать его возвращение.

Илья не возвращался.

Сначала Вера просто ждала – сидела за столом, перечитывая его утреннюю записку, водила пальцем по четким, без нажима буквам, будто пытаясь выцарапать из них то, чего в них не было: тепло, обещание, знак. Но буквы молчали. Они были такими же, как он сам, – сухими, точными, необходимыми.

Потом она встала, подошла к окну. За стеклом, покрытым причудливыми узорами инея, уже стужались синие декабрьские сумерки. Деревня скрылась в синеве, – ни огонька, ни звука, только белое безмолвие, уходящее в бесконечность.

Она прижалась лбом к ледяному стеклу – холод обжег кожу, но она не отстранилась. Боль помогала не думать. Не думать о том, где он, жив ли, не замерз ли в этой стуже, не сбился ли с дороги среди сугробов.

Время тянулось густо, медленно. Казалось, прошла вечность, но когда она взглянула на карманные часы – тяжелые, отцовские, серебряные, что лежали на столе, – стрелки едва сдвинулись. Четверть седьмого. А ей чудилось – уже полночь.

Она подбросила еще полено. Пламя весело затрещало, жадно облизывая сухую кору, и в горнице стало теплее, светлее. Но как только дверца закрылась, темнота вернулась – густая, давящая, живая.

Тишка сидел на коврике у печки и смотрел на нее немигающим зеленым глазом. В его взгляде было что-то понимающее, почти человеческое. Он знал этот дом, эту жизнь, это ожидание лучше, чем она. И молчал.

– Что ты смотришь? – спросила Вера шепотом. – Я тоже не знаю, что будет.

Кот моргнул и отвернулся.

Она снова подошла к окну. Темнота за стеклом сгустилась окончательно. Ни звезды, ни луны – небо затянуло тучами, и теперь деревня казалась не просто замершей, а похороненной. Где-то там, в этой тьме, были избы с горящими печами, с детьми, которых надо кормить, с больными, которых надо лечить. Но здесь, в доме доктора, была только тишина и она.

Вера села на коврик у печи рядом с котом, обхватила колени руками. В детстве она так сидела, когда боялась темноты, – ждала, пока мать войдет и скажет, что все хорошо. Мать не входила уже почти три года. Илья не входил сейчас.

Вошел бы он когда-нибудь, если бы она не приехала сама? Или так и остался бы здесь, в этой глуши, медленно превращаясь в функцию, в человека, который живет только для других?

«Я приехала не за спасением, – подумала она, глядя на пляшущие за дверцей языки пламени. – Я приехала, чтобы...»

Чтобы что? Она не знала. Не могла договорить даже мысленно. Слишком страшно было признаться, что она не знает. Что ехала сюда, повинувшись тому тихому, упрямому зову: «Там твое место. Там, где он».

Она встала, налила чаю – травяного, горьковатого. Грела руки о кружку, но пальцы все равно были холодными. Тело не верило, что здесь безопасно. Тело помнило, что где-то в темноте, среди сугробов, по замерзшей дороге, едет он.

Прошел час. Может быть, два.

Она уже не смотрела на часы. Просто сидела у печи, слушала, как ветер гудит в трубе. Иногда ей казалось, что она слышит скрип полозьев, – она вскакивала, подбегала к окну, вглядывалась в темноту. Но там было только снежное марево.

К десяти вечера глаза начали слипаться. Она боролась со сном – вставала, ходила по комнате, щипала себя за руку. Нельзя спать, пока он не вернется. Нельзя.

В половине одиннадцатого она уснула сидя, прислонившись к теплой стенке печи.

Очнувшись от холода – или ей показалось, что от холода? – огонь почти погас, в комнате стало зябко. Часы показывали половину первого. За окном – та же тьма, тот же ветер. Тишина.

Она поднялась, подкинула еще немного дров, на ватных ногах добрела до своей кровати, упала на нее, даже не раздеваясь. Укрылась одеялом, поджала колени к груди. Сон накатывал волнами – то отпуская ее почти на поверхность, то затягивая обратно в темноту.

И в одной из этих волн – или на границе между ними – ей почудился звук. Далекий, едва слышный скрип полозьев. Может быть, ветер. Может, дерево треснуло от мороза. А может – и она цеплялась за это «может», – это были сани.

Она не знала. Проваливаясь в сон, она сжимала в пальцах этот звук. Если он есть, значит, он едет. Значит, будет утро. Значит, будет завтра.

Первый урок

Илья вернулся глубокой ночью, когда снегопад уже прекратился. Лошадь, покрытая инеем, тяжело дышала, опустив голову почти до самой земли – двадцать верст туда и обратно по занесенному проселку вымотали даже ее, крестьянскую, привычную к любым морозам.

В избе уже не горел свет – Вера, вероятно, спала, – но в печи, когда он, промерзший до костей, вошел в горницу, еще тлели угли, отдавая последнее тепло. Он сбросил тулуп – тот встал колом, пришлось с усилием разгибать замерзшую овчину – и первым делом подошел к печи, протянул руки к исчезающему теплу. Пальцы, даже в толстых рукавицах, задубели так, что он не чувствовал кончиков.

Он простоял так с минуту, приходя в себя, слушая, как оттаивает тело – с покалыванием, с тупой, ноющей болью в суставах, с тем особым ощущением, когда кажется, что холод из тела уже никогда не уйдет. И только потом, уже собираясь разуваться, заметил.

На столе, рядом с его глиняной кружкой, стояла ее фаянсовая чашка с синей полоской. В его кружке – остывший, но еще не холодный потемневший травяной чай, уже горьковатый от долгого настаивания. Под крышкой чугунок на крае устья слабо парила каша. Поленья у дровницы были аккуратно сложены стопкой – не как попало, а так, чтобы удобно брать. И заслонка печи была приоткрыта ровно настолько, чтобы угли не погасли, но и не прогорели слишком быстро.

А в остальном – все было как прежде. Его брошюры на столе и подоконнике лежали нетронутыми. Его кружка, его мыло – все на своих местах. Она не прикоснулась ни к чему в его части дома, не попыталась «прибраться», не нарушила ни одной границы. Только к общему пространству – кухне, печи, столу – добавила свой минимальный, ненавязчивый след.

Он стоял посреди горницы и смотрел на все это. Чай. Каша. Дрова. Заслонка. Она не спала, пока не убедилась, что печь доживет до утра. Она не тронула его вещей. Она здесь – и она знает, где его черта.

И в груди его, вместо раздражения, поднялось что-то другое. Его добровольное одиночество было нарушено. Но нарушено не насильно, не с шумом и претензиями. Тихо. Без спроса, но и без угрозы. Он не просил этого внимания, не ждал его. Но она оставила его – и теперь это стало частью вечера, частью ритуала возвращения домой. Необходимым, как дыхание.

Он чувствовал себя... странно. Как будто что-то изменилось – незаметно, но необратимо.

Он сел на лавку, выпил остывший, но все еще пахнущий мятой и душицей чай, глядя на тлеющие угли. Потом поднялся, подбросил дров, закрыл заслонку и только тогда, уже в полной темноте, лег спать.

За стеной, в своей комнате, спала женщина, которую он не звал, не ждал и которая все же приехала. И это «все же» теперь предстояло как-то вписать в свою жизнь.

*

Утром Вера нашла новую записку, написанную его угловатым, но четким почерком:

«Через два дня – в школу.

До нее – три версты пешком, тропа накатана санями, не собьешься.

Староста согласен. Класс – в помещении церковной сторожки, 15 детей, от 7 до 14 лет.

Уроки – с 9 до 14. В субботу – до 12.

В морозы – не ходить, дети все равно не придут.

И.»

Она прочла – и вздохнула так, будто впервые за неделю позволила легким раскрыться полностью.

Это было не «спасибо», не «я рада». Это было облегчение – глубокое, до дрожи в коленях. Он написал деловито, по пунктам: когда идти, где школа, сколько детей. Без лишних слов. Но за этими сухими строками она прочитала главное: она не ошиблась. Она приехала не в пустоту.

Аглая Ильинична снова пришла в десять утра с большим тюком за плечами.

– Вот, – сказала она, развязывая его на лавке в горнице. – У Марковны с верхней улицы взяла. Сын ее, Федька, в армию ушел, а тулуп – новый, из овчины, почти не ношенный, на рост его шили. У нас морозы до крещенских щиплют, до сорока доходят, а Илья Андреич сказал, вы в одном городском пальто да в шляпке. Не годится, замерзнете, простудитесь.

Вера взяла тулуп в руки – и едва не уронила. Он был тяжелым, плотным, сбитым, как войлок. От него пахло овчиной с примесью дыма от курной избы и, кажется, дегтем – тем особенным, въедливым запахом деревенской жизни, который не выветривается годами.

Она надела его поверх платья, и сразу стало неловко. Тулуп был сшит на широкого, рослого парня, Вера утонула в нем: плечи сползали, рукава свисали ниже кончиков пальцев, воротник, грубый, стоячий, подпирал подбородок, заставляя держать голову выше. Полы доставали почти до щиколоток, путались в ногах.

Но тепло пришло сразу. Не постепенно, как от печки, а мгновенно, густым, обволакивающим жаром.

– Ну, прямо медведь в берлоге, – усмехнулась Аглая Ильинична. – Великоват, конечно. Федька-то у нас – косая сажень в плечах, в дверь боком проходил. А вы... – она покачала головой, но в глазах ее мелькнула теплота, почти материнская. – Совсем девчоночка. Да ничего, зато теплый. В лесу-то, в поле, он и не так смотреться будет. Там на красоту не глядят, там бы живым остаться. Рукава подвернете, подол подберете – и ладно. Главное, чтоб мороз не достал.

И впервые Вера не почувствовала унижения, стыда от принятия чужой, пусть и необходимой, вещи. Тулуп Марковны был не милостыней, а частью молчаливого договора. Она будет учить детей – значит, и Федькины братья и сестры выучатся грамоте. А Илья, если что, подлечит их семью.

– Спасибо, – сказала Вера.

Аглая Ильинична махнула рукой, скинула платок, прошла к печи.

– Давайте-ка покажу, пока он не вернулся, – сказала она. – Начнем с простого. Гречка. Она вроде простая, а поди знай – у каждого печь своя, характер у нее. Главное – не мешайте, пока не упрет. А то осадите – и все, не поднимется, будет комом. И воды не жалейте: в печи она враз выкипает, как слеза на морозе. Видите, – она показала рукой, – устье, под, задок. Самое пекло – в глубине, у задней стенки. Если чугунок туда задвинуть – сторит. Надо ставить на край, к устью, и постепенно пододвигать, как дите к груди приучают. А чтобы сверху пропеклось – можно крышкой накрыть и угольков на нее насыпать. Тогда жар и снизу, и сверху. Глядишь, через полчаса – и обед.

Объяснив все, она ушла так же быстро, как появилась.

Через полчаса, когда запах гречки поплыл по избе, Вера осторожно выдвинула чугунок, попробовала. Каша была готова – рассыпчатая, не подгоревшая, мягкая. Она улыбнулась сама себе.

Остаток дня тянулся медленно, вязко. Она вышла во двор, наколола дров из сеней – неумело, но старательно, несколько раз чуть не приложив себя поленом. К вечеру снова растопила печь – уже чуть увереннее, следя за тягой, как учила Аглая Ильинична.

Илья вернулся в половине одиннадцатого, усталый, молчаливый. Скинул тулуп, прошел к печи, долго грел руки. Она сидела у керосиновой лампы за столом с книгой – делала вид, что читает. Он кивнул ей – коротко, будто они виделись час назад, а не двое суток. Поел молча, потом ушел в амбулаторию – возился там до полуночи, слышно было, как звякали инструменты, как лилась вода.

На второй день мороз сдал. Утром, когда Вера вышла в сени, она почувствовала это сразу – щеки щипало, но не перехватывало дыхание как вчера. Воздух стал мягче, и даже дым из трубы поднимался не прямым, застывшим столбом, а чуть стелился, подчиняясь слабому ветерку. После тридцатипятиградусной стужи это казалось почти оттепелью.

Когда Илья вышел в горницу – впервые за эти дни при свете, – она уже сидела за столом с кружкой чая.

Он остановился на пороге, будто наткнулся на невидимую преграду. Секунду помедлил – и все же прошел к столу, сел напротив. Налил себе чаю, потом, после короткой заминки, потянулся к ее кружке – и добавил еще на палец. Просто, молча, без объяснений. Она не поблагодарила вслух, но пальцы, обхватившие кружку, чуть заметно дрогнули.

– Доброе утро, – сказала она.

– Доброе, – ответил он.

Пауза. В избе было тепло. За окном серело небо, обещая новый снегопад. Тишка терся о ноги Ильи, требуя молока.

– Завтра в школу идешь? – спросил он, глядя в кружку.

– Да. Завтра.

Снова пауза.

– Когда пойдешь, смотри на вехи. После метели могло замести.

– Хорошо.

Он ушел в амбулаторию. Она осталась сидеть за столом, допивая свой остывший чай.

До школы оставалось еще целое завтра, и его нужно было прожить.

Она вышла в сени, накинув тулуп поверх кофты. Мороз уже не обжигал, как в первые дни, и дышалось легче. Поленица у сарая, аккуратно укрытая мешковиной от снега, темнела ровным прямоугольником. За ней, в глубине, угадывалась тропинка, ведущая к бане, – Вера туда не пошла. Вместо этого она свернула влево, в сад.

Сад был крошечным – четыре шага в длину, пять в ширину. Яблоня стояла у забора, корявая, старая, с голыми, заиндевевшими ветвями. Снег под ней был ровный, как белая бумага. Вера провела ладонью по стволу. Кора была шершавой, но не мертвой: где-то там, под снегом, ждали своего часа корни, уходящие в мерзлую, но все еще живую землю.

Кусты смородины и малины вдоль забора торчали из сугробов черными прутьями. Вера узнала их по характерным изгибам ветвей – такие же росли в их московском палисаднике, и еще на даче, куда они с матерью ездили когда-то компаньонками, в другой жизни. Мать варила из них густое варенье, добавляя листки для аромата. Она наклонилась, коснулась одной из веток. Та чуть качнулась, стряхнув снежную пыль.

Она постояла так еще немного, просто дыша, ни о чем не думая. Потом вернулась в дом.

*

На третий день рано утром Вера стала собираться.

Дорога в школу заняла почти час. Три версты по накатанной санями тропе через поле. В лицо бил холодный и сухой ветер. Тулуп тянул плечи вниз, полы путались в ногах, приходилось высоко поднимать колени, чтобы не наступить на подол. Тропа, накатанная санями, угадывалась лишь по двум неглубоким колеям – остальное замело. Пару раз она останавливалась, вглядываясь в белое поле, – и сердце сжималось: а вдруг не туда? Вдруг вехи, о которых говорил Илья, остались где-то правее или левее, а она сама уже незаметно сошла с дороги и теперь бредет в никуда? Но колея возвращалась, снег под ногами твердел, и она снова шла, высоко поднимая колени, чувствуя, как тулуп натирает плечи, а холод забирается в рукава даже через толстую овчину.

Издали, едва слышав скрип полозьев, она начинала готовиться – поправляла платок, одергивала тулуп, придумывала, как поздороваться: просто кивнуть? пожелать «доброго дня»? В Москве она знала эти нормы, но здесь, на проселке, где встречный воз – не просто прохо-

жий, а событие, все ощущалось иначе. Каждый раз она чувствовала себя самозванкой, которую вот-вот разоблачат: какая же это учительница, если идет в чужом тулупе и не знает даже, как правильно поздороваться?

Но разоблачения не случилось. Она ловила на себе быстрый, оценивающий взгляд – не враждебный, а скорее изучающий, каким прикидывают товар на ярмарке: «Из города. Молодая. Надолго ли?» – мужская рука тянулась к шапке, ее голова склонялась в ответ, и они расходились: мужик – дальше по делам, к лесу за дровами, а Вера – дальше в школу, еще на полверсты ближе к своей новой, еще не обжитой жизни. И только потом, когда скрип полозьев затихал за спиной, она позволяла себе выдохнуть.

Когда из-за поворота показалась церковная ограда, Вера на мгновение замерла. Сторожка выглядела так, будто сама земля медленно затягивала ее обратно в себя: приземистая, вросшая в сугроб, с подслеповатым оконцем. Вокруг – ни души, только ветер гулял между могильными холмиками на церковном дворе, замеченными снегом почти до самых крестов. Из трубы вился жидкий дымок – значит, кто-то уже растопил печь. От этого стало чуть легче. Она толкнула низкую дверь – та подалась с трудом, заскрипела промерзшими петлями, – пригнулась под притолокой и вошла.

Внутри пахло золой, сырой известью и чем-то кисловатым – не то плесенью, не то слежавшейся за зиму пылью. Два окна – одно с целым, но мутным стеклом, другое заколочено тонкой фанерой. Света хватало – бледного, зимнего, он просачивался сквозь щели и мутное стекло, ложился пятнами на грубые стены. Крошечная печь-голландка дымила, нехотя отдавая тепло, которого едва хватало, чтобы не замерзли чернила. Доска – кусок побеленного известью щита, прибитый к стене. Рядом, на кривом гвозде, висела тряпка для стирания. Для письма она загодя припасла горсть тщательно отобранных, заостренных угольков из печи – на меле в конторе земской управы экономили. Парты – три длинные, грубо сколоченные, некрашенные лавки. Пространство между ними было таким узким, что, проходя, она задела бедром край одной из лавок.

Дети уже сидели. Тихо, чинно, будто в церкви. На первой лавке, ближе к печке, жались друг к другу младшие – самая маленькая, лет семи, в великоватых валенках, двое ее братьев, еще какая-то девочка с острым, мышиным личиком. На второй – те, кому было лет по десять-одиннадцать. На третьей, у самой двери, отдельно, занимая сразу почти половину лавки, сидел старший – широкоплечий, тяжелый, с крупными красными руками, которые он, не сжимая, просто положил на колени. Он не жался, не ежился – просто сидел и ждал.

При появлении Веры все встали – не по команде, а как-то сами собой, и она на мгновение растерялась: этого она не планировала. Широкоплечий поднялся последним, медленно, будто раздумывая, стоит ли. И когда он выпрямился во весь рост, Вера вдруг поняла, что он выше нее почти на голову. Ей пришлось чуть задрать подбородок, чтобы встретиться с ним взглядом – спокойным, изучающим. Так смотрят на нового человека, от которого пока не знаешь, чего ждать. «Садитесь», – сказала она, махнув рукой, и они сели, все так же молча, выжидаяще.

И только тогда она заметила их по-настоящему.

Пятнадцать пар глаз, от испуганных до спокойно-взрослых. Самому старшему, широкоплечему, было, как она позже узнала, под пятнадцать – ему через год в солдаты. Самой младшей, той, что в великоватых валенках – семь.

Одежда сразу показывала, кто из какой семьи. У младшей валенки были подвязаны бечевкой под коленями, чтобы не спадали. У ее старшего брата, сидевшего тут же, – лапти, набитые соломой, и холщовые порты с заплатой на колене. Две девочки со средней лавки носили платки, завязанные аккуратно, по-взрослому, и в ушах у них поблескивали простенькие оловянные сережки – признак не богатства, но хотя бы опрятности. Широкоплечий был в тяжелых сапогах с подшитыми войлоком голенищами – единственных во всем классе. Остальные сидели, поджав под себя окоченевшие ступни, обмотанные в несколько слоев серого холста

поверх поношенных лаптей, – от такого утепления в промерзлой сторожке не было никакого толка.

Смотрели они по-разному. Младшие – та, в великоватых валенках, и еще несколько – глядели на Веру с открытым, почти голодным любопытством: для них она была не просто учительницей, а существом из другого мира, от которого пахло мылом, а не дегтем, и который говорил слова, не похожие на грубую деревенскую речь. В их глазах читалось: «Какая красивая. Как в городе. Как на картинке».

Старшие смотрели иначе. Не враждебно, но с тем особым крестьянским прищуром, который заменяет долгие вопросы. «Надолго ли тебя хватит, барынька?» – читалось в их взглядах. Двое подростков глядели исподлобья, недоверчиво поджав губы. Широкоплечий смотрел спокойнее, но в его тяжелом, немигающем взгляде ей вдруг почудилось усталое знание: ты уже не первая. Первая плакала от холода. Вторая была местная, но муж не пустил. И вот теперь – третья. Надолго ли?» Это не было вызовом – скорее усталым, выстрадаанным скепсисом. Он не ждал от нее чуда. Но готов был присмотреться.

Тишина стояла такая, что Вера слышала, как в печи потрескивают дрова и как где-то на дворе шумит ветер. И в этой тишине пятнадцать детей ждали, что она скажет.

– Здравствуйте, – сказала Вера, и голос ее прозвучал чуждо, слишком правильно в этой бревенчатой клетушке. – Меня зовут Вера Петровна. Я буду учить вас читать, писать, считать. Молчание.

– Кто из вас знает буквы?

Робко поднялось три руки. Самая младшая уставилась на свои валенки.

«С чего начать? С азбуки? Но тогда половине будет скучно, а половина не поймет», – пронеслось в голове.

И тогда она отступила от плана. Закрывает букварь.

– Давайте сначала познакомимся. Расскажите, как вас зовут и... кем вы хотите стать, когда вырастаете.

Вопрос повис в воздухе. Дети молчали, глядя на нее в упор. Они не понимали. Здесь не выбирали – становились тем, кем велела судьба: мужиком, бабой, солдатом.

Кто-то кашлянул в кулак. Тишина затягивалась, становилась неловкой.

Вера почувствовала, как внутри все сжимается. Она задала этот вопрос, потому что не знала, с чего начать, – и теперь он висел в воздухе, как пустой крюк, на который нечего вешать. «Господи, что я делаю, – подумала она, чувствуя, как горят щеки. – Они же никогда об этом не думали. Их никто не спрашивал. Я для них – как барыня, которая пришла потехи ради...» Она уже готова была отступить, вернуться к букварю, к цифрам – к чему угодно, лишь бы разбить эту страшную тишину. И тогда Мирон – тот самый широкоплечий, вздохнул – тяжело, по-мужицки – и подал голос.

– Кузнецом, – буркнул он, исподлобья глянув на Веру. Голос уже ломающийся, с неожиданно низкими нотами. – Дядька Иван в кузнице при деньгах, все мужики к нему – кто лошадь подковать, кто лемех поправить. И боятся его. – Он усмехнулся чему-то своему. – Никто не полезет, уважают. Я тоже хочу, чтоб уважали.

– А я – как доктор Илья Андреич, – вдруг пискнула самая младшая, Аришка. – Людей лечить. Бабуку нашу он вылечил.

И пошло. Мечты были грубыми, простыми, приземленными: иметь свою лошадь, выйти замуж за доброго, не бить жену, съездить в Сызрань. Но это были их мечты. И Вера слушала, кивая.

Когда говорила Аришка – она вдруг протянула руку и осторожно, едва касаясь, погладила рукав тулупа Веры, будто проверяя, настоящий ли он. И, убедившись, что да, настоящий, и что женщина в нем тоже настоящая, вздохнула с каким-то детским облегчением и снова замерла на лавке.

Вера запоминала не только имена, но и причину: Мирон хочет быть кузнецом, значит, ему задачи с мерами веса и длины. Аришка – врачом, ей можно буквы на картинках с травами показывать.

Когда прозвенел колокол на церковной колокольне, возвестивший конец уроков, дети не бросились врассыпную. Они собирали свои нехитрые пожитки, еще раз оглядывая ее, эту странную барышню из другого мира, которая спросила их о желаниях. Вера поняла: завтра их может быть меньше. Потому что валенки одни на двоих братьев, а мороз обещает крепчать. И потому что сегодня они ничего не выучили – только болтали.

– Завтра, – сказала Вера, – начнем с цифр. Принесем с собой палочки для счета. Прямые, ровные. И камушки. У кого есть дощечки – тоже возьмите.

Они закивали, серьезные, будто получили важнейшее задание, и один за другим, шаркая грубо обмотанными ногами, вышли в скупой зимний свет.

Дверь закрылась. В опустевшей сторожке воцарилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием дров в печи. Вера села за свой стол, зажгла свечу – день уже клонился к закату, и без огня было не разобрать строк. Положила ладони на грубую деревянную столешницу. Сегодня она не учила – она слушала. И это было важнее любой азбуки.

«С буквами пока не выйдет, – четко сформулировала она про себя. – У Аришки нет даже понятия о знаке, а Мирон смотрит на букварь как на китайскую грамоту. Начну с цифр. Цифру можно показать на пальцах, выложить из палочек, нарисовать углем на доске. Это – осязаемо. Это – как количество хлебов в печи или кур в загоне. Это им понятно. А когда поймут, что за знаком «5» стоит пять хлебов, пять кур, пять верст до дома – тогда, может, и буква «А» перестанет быть закорючкой».

Она мысленно представила завтрашний урок. «Возьму уголек. Нарисую на доске «1» и положу рядом одну палочку. «2» – две палочки. Пусть повторяют на своих лавках, пальцем на золе. У кого есть дощечки – пусть чертят. Бумагу трогать не будем – донесем до контрольной весной. Им холодно. Значит, буду двигать их, пусть прыгают, хлопают – раз, два. Чтобы согрелись. Чтобы цифра вошла в руки раньше, чем в голову».

Это было не преподавание, а выживание: знание должно было войти в руки раньше, чем замерзнут пальцы.

Она потушила свечу. В полумраке побеленная доска слабо белела.

Обратная дорога казалась короче. Ноги, утром заплетавшиеся в тяжелом тулупе, теперь шагали ровнее, будто само тело запомнило дорогу. В висках еще гудело от детских голосов, перед глазами стояли их лица – испуганные, любопытные. Она повторяла про себя имена: Мирон, Аришка, Дуняша, Сеня... и боялась забыть хоть одно. Пальцы в перчатках закоченели, но внутри было тепло. Она сделала что-то важное. Не идеально, не так, как учили. Но – важное.

В горнице ее ждала тишина и холод – печь давно остыла. Но усталость была странной, светлой – не от бессилия, а от затраченных сил, которые нашли, наконец, точку приложения.

На чистом листе из своей новой тетради она вывела:

«Урок 1. 16 декабря 1907 г. 15 учеников. Знакомство.

Мирон (14 л., кузнец)

Аришка (7 л., врач)

Дуняша (12 л., фабрика)

...», – и перечислила всех, запомнив не только имена, но и их голоса, и их несбыточные, такие важные мечты.

Потом ниже, другим почерком, почти схематично:

«Завтра (17 декабря): цифры 1-5. Палочки. Камни. Движение. Не дать замерзнуть.»

Спину ломило от сидения на жесткой лавке, ноги гудели от долгой ходьбы по снегу. Но эта усталость была другой – честной.

Из амбулатории доносились приглушенные голоса – Илья еще принимал. Иногда звякали инструменты, лилась вода, слышались короткие, деловые фразы, обращенные к больным. Вера сидела за своим столом, перечитывая записи об уроке, и прислушивалась невольно – не из любопытства, а просто потому, что эти звуки теперь были частью ее вечера.

Мысли текли своим чередом. О том, что завтра снова нужно будет увязать в снегу. О том, что Мирон, наверное, придет – он хочет быть кузнецом, а кузнецу без счета нельзя. О том, что Аришкины валенки надо бы чем-то залатать, но она не знала как, и не знала можно ли, не нарушив тот самый безмолвный договор, в котором вещь дается за дело, а не за жалость.

И о нем. Об Илье. О том, что они почти не говорят, но в этом молчании нет неловкости. О том, что его записка лежит у нее в кармане, и она перечитывала ее три раза, не находя в ней ничего, кроме фактов, – и почему-то от этих фактов становилось спокойно. Они не говорили друг с другом, но он был за стеной. И этого хватало.

Впервые за долгое время Вера думала о завтрашнем дне без этой привычной, липкой тревоги. Она думала о нем как о завтрашнем дне. В котором будет урок, будут дети, будут палочки для счета, будет еда.

Сгоревшая картошка

Первую неделю Аглая Ильинична приходила не по расписанию, а по необходимости, пока Вера не освоилась. Ее визиты были как рейды по укреплению обороны быта: она являлась без предупреждения, молча окидывала взглядом горницу, проверяла печь, заглядывала в чугушки и, удовлетворенно или озабоченно хмыкнув, принималась за дело. Иногда просто сидела на лавке и рассказывала деревенские новости – кто родился, кто умер, у кого лошадь пала, чья корова отелилась. В этих неспешных разговорах Вера училась читать между строк: за каждым упоминанием стояла чья-то судьба, требующая участия или хотя бы понимания.

Она приносила не просто продукты, а знаки той сложной, безденежной жизни, в которую Вера оказалась вписана.

Крынка простокваши, завернутая в чистую холстину, оказывалась на столе с коротким пояснением:

– От старухи с верхней улицы. За сына, которого вы, Илья Андреич, от воспаления спасли.

Яйца – пяток, аккуратно уложенные в лукошко из бересты, – появлялись с еще более краткой аттестацией: «От бабы Марфы: курица, хвала Богу, снесла». И только вишневое варенье, густое, темное, Аглая Ильинична ставила на стол с особой интонацией – голос ее становился тише, почти интимным:

– А это... мое. Сладость тоже нужна. Без сладости человек черствеет.

Вера уже понимала язык этого обмена. Ее труд учительницы, его труд врача были здесь тем, чем расплачивались за простоквашу, яйца, дрова. Она перестала быть чужой – стала нужной. Частью этого мира, где каждый долг помнился, а каждая услуга рано или поздно возвращалась – тулупом, крынкой молока или просто кивком при встрече.

Она учила Веру премудростям деревенского быта. Как варить щи из квашеной капусты, чтобы она потеряла резкую кислоту и стала золотистой от тушения, а картошка сварилась, но не развалилась. Как выбирать картофель – без ростков и зелени – они ядовиты, и что глазки надо вырезать глубоко, не жалея. Как держать руку в печи, чтобы определить жар: для пирогов – чтобы рука терпела не больше трех секунд, для хлеба – чтобы можно было досчитать до пяти, для томленного молока – чтобы ладонь чувствовала ровное, ласковое тепло.

И когда в первый раз у Веры получился тяжелый, как булыжник хлеб, низкий и сыроватый внутри, с подгоревшей корочкой и липким, непропеченным мякишем, – Аглая Ильинична не осудила. Она отломил уголок, медленно разжевала, прикрыв глаза, и сказала с тихой усмешкой:

– Закваска жива – и то хорошо. Значит, грибок взялся, не умер. А не поднялся – либо мука с лежалого амбара, сырая была, либо печь после топки не выстояла, дух не тот. Ничего, бывает. У нас на селе и не такое ели в голодные годы. – Она помолчала, глядя на Веру с тем особым, изучающим выражением, с каким смотрят на ученика, подающего надежды. – Главное – не бросать. В следующий раз тесто на окно поставьте, на солнышко, да в печь сажайте не на угли, а когда жар в стенках уйдет и ровно греть начнет. И руки погрейте перед тем, как месить, – тепло свое в хлеб кладите. Хлеб тепло любит.

*

Илья не спрашивал о прошлом. Не выражал ни радости от ее присутствия, ни досады. Но и никогда не отказывал, если она просила о чем-то практическом: достать с высокой полки тяжелый чугунок, перенести сундук, объяснить местное слово, значение которого ускользало от нее. Он помогал молча, быстро, эффективно – как инструмент, который всегда под рукой и никогда не подводит.

Он не выгонял, не делал вид, что ее не существует. Он просто был рядом. Не спрашивал «зачем» – потому что знал ответ. «Ты здесь – значит, так надо. Значит, это твой путь. И я не имею права его усложнять».

Иногда, застав его врасплох – когда он, вернувшись с вызова, сидел у печи с закрытыми глазами, не слыша ее шагов, – она ловила на его лице выражение не просто усталости, а глухого, одинокого изнеможения, которое он никогда не показал бы ей при встрече взглядом. В такие мгновения он казался пустым, выгоревшим изнутри. И она понимала: его молчание было не только принятием, но и расстоянием, которое он держал – и от нее, и от самого себя.

Быть «не обузой» оказалось сложнее, чем она думала. Это означало игнорировать тень боли в его взгляде, когда он смотрел сквозь окно на метель, зная, что где-то там, в двадцати верстах, человек умирает без помощи, а лошадь не идет, потому что дорогу замело. Это означало не спрашивать, почему он иногда подолгу сидит в амбулатории после приема, хотя больных уже нет, и только свет лампы, пробивающийся сквозь щель в двери, выдает его присутствие.

А Вера, лежа ночью в темноте, мучилась все той же мыслью:

«Я поставила его в положение, из которого нет честного выхода. Вся деревня видит: женщина живет под одной крышей с фельдшером. Все думают одно. Но молчат. Не потому что одобряют, а потому что он их спасает, а я учу их детей. Мы живем на их молчании. И это молчание давит на нас обоих. Но говорить о нем вслух – значит признать, что между нами есть что-то, требующее оправданий. А у нас нет ничего. Есть только это молчание. И оно становится все тяжелее».

Но внешне – все было спокойно, даже мирно. Она шла по единственной улице деревни, утопая в снегу по щиколотку, и с ней здоровались. Дети, игравшие в снежки, при ее приближении снимали шапки и замирали, провожая ее взглядами. Женщины у колодца, замолкая на мгновение при ее приближении, кивали, иногда задавая короткий, практический вопрос о школе.

Никто не показывал пальцем, не шипел вслед, не отпускал колкостей. И это всеобщее, вежливое, но отстраненное, бдительное принятие было, пожалуй, страшнее и тяжелее открытой вражды или сплетен. Оно было стеной, мягкой, но непроницаемой. Стеной условностей, за которой шла своя, непонятная ей жизнь, со своими законами, иерархиями и тайными счетами.

И в ответ на эту стену в ней росло упрамяство – тихое, но неостановимое.

«Я здесь. Я не просила разрешения. Я выбрала сама. И если он не выгоняет меня – значит, принимает. Принимает меня не как роль, не как функцию, не как дальнюю родственницу, а как Веру. Ту самую, что когда-то ударила его книгой. И этого, быть может, пока достаточно. Но достаточно ли мне?»

Он, казалось, чувствовал этот сдвиг в атмосфере. Раньше он избегал ее взгляда. Теперь он иногда ловил его на себе – когда она, не отрываясь, смотрела на него, решая какую-то свою внутреннюю задачу, – и тогда его собственный взгляд на миг терял профессиональную ясность, в нем мелькало что-то растерянное, вопрошающее, прежде чем прежде чем он снова становился собранным и отстраненным. Это было хуже, чем холодность. Это было признание, что тишина между ними больше не нейтральна – она заряжена невысказанным вопросом.

Когда он нашел на стуле у печи свою рубашку, аккуратно зашитую мелким, ровным стежком (она нашла нитки и иголку в своем сундуке и сделала это в его отсутствие, в тот день, когда он уехал на вызов в дальнюю деревню), он не сказал «спасибо». Он просто взял ее в руки и держал дольше, чем нужно, разглядывая шов при свете лампы. Как врач, он не мог не отметить: стежки ровные, без лишних проколов, натяжение нити правильное – так, чтобы ткань не морщилась, а края разрыва были сведены плотно, почти как при хирургическом шве. Но потом, будто опомнившись, он аккуратно сложил рубашку и заставил себя думать о том, сколько еще хинина осталось в банке.

Он знал, что думают в деревне. Знал цену каждому взгляду, каждому кивку, каждому «Илья Андреич», брошенному при встрече. За два года здесь он научился читать деревенское общество как открытую книгу: кто кому кум, кто с кем в ссоре, кто тайно пьет, кто бьет жену, кто ворует дрова. И единственный способ сохранить и ее честь, и свою, не дать сплетням перейти в открытое осуждение, – это вести себя безупречно, не давая ни малейшего повода.

Он выработал для себя простые и точные, как дозировка лекарств, правила. Не смотреть на нее дольше, чем нужно по делу. Не прикасаться, даже случайно; если они оказывались рядом в дверях, он замирал, давая пройти первой, следил, чтобы расстояние было не меньше локтя. Говорить только о деле: о школе, о больных, о погоде. Никаких личных тем.

Но чем строже он соблюдал этот кодекс, тем тяжелее становилось внутри. Потому что ночами, когда за стеной стихали последние звуки, он лежал на своей узкой кровати, глядя в потолок, и думал о ней. Не о «Вере Петровне, учительнице». О ней. О той, что приехала без зова, без права, без гарантий. О той, что зашила его рубашку, не спрашивая, нужно ли это.

И эти мысли были предательством. Они ломали его кодекс, разрушали крепость, которую он строил годами. Он пытался заглушить их работой, усталостью. Но они возвращались – тихие, навязчивые.

«Ты не имеешь права, – говорил он себе. – Она здесь не для тебя. Ты – лишь обстоятельство, часть пейзажа. И если ты позволишь себе хоть на миг забыть об этом, ты станешь тем, кого презираешь, – слабаком, который пользуется безвыходным положением женщины». Он знал этот тип недуга. И единственным лекарством, которое он мог себе прописать, была эта строгая диета из дистанции и молчания. А любое проявление личных чувств – риск, который может разрушить их хрупкое равновесие.

И все же, когда утром она выходила в горницу, свежая после умывания холодной водой, с туго заколотыми волосами, с этой своей спокойной полуулыбкой, он ловил себя на том, что смотрит на нее дольше позволенного. И тут же отводил взгляд, делая вид, что занят чайником, книгой, журналом пациентов. Но этот мимолетный взгляд был цепким, как у диагноста: он успевал отметить и легкую синеву под глазами (все еще недосып), и то, как она инстинктивно разминает пальцы (первые признаки суставного ревматизма от холода и сырости в школе). Ему хотелось сказать ей, чтобы сушила варежки на печи и растирала руки мазью, но это было бы уже не «дело», а личное. И он молчал.

Она, кажется, замечала. Но молчала. В молчании не было осуждения, не было вопроса. Было только ожидание. Терпеливое, бесконечное, как зима в Никольском.

«Чего она ждет?» – думал он, шагая по заметенной дороге к очередному больному. – Чего я жду?»

Он оборвал мысль, не давая ей развернуться. Ответа не было. И не будет. Он умел только наблюдать и ждать – как ждут, спадет ли температура или больной умрет. Но здесь он не врач. Он оборвал эту мысль резко, без сожаления. И зашагал быстрее, зная, что работа – единственное, что еще спасает.

*

В углу на столе, придавленный банкой с карболкой, лежал бланк ежемесячного отчета в уездную управу – мятый, с проступившими на сгибах желтоватыми пятнами. В графе «должность» Илья, как всегда, вывел: «фельдшер». Перо скрипнуло, ставя точку.

Фельдшер. Тот, кто имеет право на перевязки, клизмы, прием больных под наблюдением врача и малую хирургию – вскрыть абсцесс, наложить швы, вправить вывих. Все, что выходило за эти рамки, было уже нарушением. Врачебной деятельностью без диплома. Преступлением, за которое можно было лишиться практики и места.

Он присыпал чернила песком и усмехнулся про себя. В отчетах он оставался фельдшером. А по факту был всем – терапевтом, педиатром, эпидемиологом, дантистом, фармацевтом. Рвал зубы щипцами без анестезии, потому что эфир был на исходе, а больной мог вытерпеть.

Принимал роды, когда повитуха уже не могла помочь. А в экстренных случаях – когда ребенок задохнулся от крупа или у мужика открывалось внутреннее кровотечение – он делал то, на что по закону права не имел.

Он оперировал – но лишь в самом крайнем, отчаянном смысле этого слова. Никаких чревосечений, никаких операций на внутренних органах – это было бы смертным приговором и немедленным запретом на самостоятельную практику, если бы кто-то донес в уезд, что фельдшер делает работу врача. Его удел – малая, экстренная хирургия: рассечь трахею при крупе, чтобы вставить в разрез металлическую трубку и дать ребенку дышать; вскрыть загноившийся абсцесс, который иначе прорвался бы внутрь и убил заражением; наложить швы на глубокую рану от косы или топора; вправить вывихнутое плечо. И лишь однажды, когда в страду мужику раздробило кисть молотилкой, он ампутировал ему три пальца – быстро, подручными средствами, молясь, чтобы не началась гангрена.

В его саквояже, с которым он никогда не расставался, лежал не только набор инструментов, но и потрепанный учебник по оперативной хирургии, который он листал ночами, пытаясь по иллюстрациям понять, как правильно рассечь трахею при крупе, чтобы не задеть перешеек щитовидной железы. Он помнил каждую картинку на ощупь, но каждый раз, беря в руки нож, молился – не Богу, в которого не верил, а собственным рукам, чтобы не дрогнули.

Он работал в чистой амбулатории, куда вел отдельный вход, инструментами, прокипяченными в кастрюле на печи и в карболовой кислоте, при свете керосиновой лампы. И каждый раз, склоняясь над импровизированным операционным столом, чувствовал, как в висках пульсирует одна и та же мысль: «Я не хирург. Я не имею права». Но за дверью хрипел ребенок, и выбора не оставалось.

Земская управа, скорее всего, догадывалась. Но предпочитала не знать. Потому что знать – значило бы реагировать. А реагировать было нечем и некем. В сорока верстах от ближайшего врача, в уезде, где на шесть волостей приходилось три фельдшера, выбор был невелик: или он, или смерть. Тихая, покорная, нигде не зафиксированная – крестьянская.

После каждой такой операции, когда опасность миновала, он долго, до красноты, до жжения, тер руки щеткой с карболовым мылом. Запах карболки въелся в стены этого дома. Он пропитал дерево, ткань, саму жизнь. Он был в его волосах, под ногтями, в легких. Он въелся так глубоко, что от него уже нельзя было избавиться.

Но карболка мстила. Кожа на костяшках и между пальцев, вечно раздраженная, трескалась, превращаясь в сеть красных, мокнущих ранок. Это была его метка, которую он прятал от чужих глаз, но которую не мог спрятать от самого себя. По ночам, когда он наконец позволял себе снять маску сосредоточенности, руки начинали зудеть и саднить так, что он не мог уснуть. Он мазал их нафталиновой мазью, но это помогало лишь на время.

*

Однажды ночью, еще до рассвета, Вера проснулась от далекого, заглушенного стука в дверь амбулатории – неотчетливого, но несущего в себе особую, лихорадочную частоту беды. В темноте такие звуки слышны особенно сильно: они прорезают сон не постепенно, а сразу. Она лежала, не шевелясь, прислушиваясь, надеясь, что почудилось. Но стук повторился – настойчивее, отчаяннее.

Потом – шаги Ильи, быстрые, тяжелые со сна. Приглушенный мужской голос, сдавленный, надтреснутый, в котором слышалась не просьба, а последняя надежда, переходящая в отчаяние:

– Спасите, Илья Андреевич... Баба... Моя Маша... Не встает...

Потом – звук двух пар сапог по полу, скрип двери. Тишина на несколько минут, такая густая, что Вера слышала собственное сердце. А потом – звук, от которого она замерла под одеялом, не дыша: протяжный, низкий стон, вырывающийся из мужской груди. Он бил по ушам

в этой маленькой избе. Потом – приглушенные всхлипы, бормотание, мольба, обращенная то ли к Богу, то ли к Илье, то ли к той, что уже, возможно, не слышала.

Она не видела, но знала. Знала по запаху, что просочился сквозь щели в двери, – металлический, теплый, страшный запах свежей крови. Она лежала, глядя в потолок, и слушала, как бьется в агонии чья-то чужая жизнь и как ее пытается удержать он – один, в этой промерзшей избушке, без помощи, без права на ошибку.

А он в это время боролся. Эклампсия – молниеносная. Судороги, пена изо рта, бешеная кровь, разрывающая сосуды. Он ввел ей весь имевшийся запас хлоралгидрата, но было уже поздно. Он знал это сразу – по пепельно-серому цвету лица, по закотившимся зрачкам. Но все равно пытался. Потому что не мог не пытаться. Потому что ее ждал муж с надеждой, которая была сильнее страха.

Тишина наступила внезапно. Такая полная, что звенело в ушах. Потом – его голос, глухой, усталый:

– Поздно. Кровь в голову бросилась... Если б вы ее вчера, до того как началось, в уездную больницу привезли, может, и успели бы.

Мужчина не закричал. Раздался глухой стук – будто человек рухнул на колени. А потом заговорил – сбивчиво, захлебываясь слезами и суеверным ужасом:

– Это мы виноваты, Илья Андреич... Постом... В Великий пост зачали, вот Господь и прибрал... Наказание это... За грех наш...

Илья, вытирая руки тряпкой, пропитанной карболкой, ответил не сразу. Он слишком устал для проповедей. Но когда заговорил, голос его был сух и ровен, как запись в истории болезни:

– Эклампсия не разбирает постов. И Господь твой тут ни при чем. Отек мозга и судороги – не кара, а патология. Тут и врач бы не помог, если б опоздал. Молиться нужно было, чтоб ее в уездную больницу успели довезти, пока судороги не начались. А у меня в саквояже только хлоралгидрат, и его не хватило.

Он не утешал. Но в его сухих словах было суровое милосердие: он снимал с мужика груз вины. Мужик замолчал, только плечи вздрагивали. А Илья уже заполнял метрику, выводя причину смерти.

Вера не разобрала всех слов, но уловила главное: грех, пост, наказание. А потом – его голос, ровный, как запись в больничной карте: «Эклампсия не разбирает постов». Он не утешал – он возвращал человека в реальность, где у смерти была причина, а не кара. И от этого Вере стало немного легче – не за мужика, а за самого Илью. Он не ожесточился. Он все еще лечил – сам того не замечая.

Потом – шорох, снова шаги. Она услышала, как Илья сказал что-то короткое, как открыли дверь. Слышно было, как они вдвоем выносили что-то тяжелое. Полозья саней скрипнули, принимая груз.

Уже со двора донесся голос Ильи:

– Держи... Это метрика. Священнику отдашь – для отчета и чтоб отпели. Я причину... написал ясно. Старосте скажи, я сам в волости отметку сделаю.

Тишина. Потом – глухое, прерывистое:

– Спасибо, Илья Андреич... Спасибо, что... что хоть бумагу дал...

– Там... в бумаге, – голос Ильи на секунду дрогнул, стал тише, почти неразличимым, – там тридцать копеек завернуто. На свечи. Маше... чтоб светлее было.

Новый приступ сдавленных рыданий, уже благодарных, бессильных. Потом – удар кнута, скрип полозьев по снегу, и сани, отъезжающие в ночь, увозя с собой смерть, горе и тот единственный листок, что связывал эту смерть с миром порядка и учета.

Дверь закрылась. Шаги Ильи в горнице были медленными, задеревенелыми. Он не пошел в свою комнату. Она слышала, как он сел на лавку у печи. Как долго сидел в полной тишине.

Его пальцы, все еще пахнувшие кровью и карболкой, машинально расчесывали мокнувшие трещины на костяшках – он даже не замечал этого. В его памяти, которую он вел только для себя, прибавилась еще одна строка. И это, а не слезы, было его способом помнить.

Потом раздался звук, который она никогда не слышала от него: короткий, резкий выдох, похожий на стон, но без слез. Звук предельной усталости и беспомощности, когда человек остается один на один с тем, что нельзя исправить.

Она не вышла. Не посмотрела в окно. Не произнесла ни слова. Лежала в темноте, чувствуя, как ее собственное тело пропитывается холодом этой ночной трагедии. Ей было страшно – не перед смертью, а перед тем, через что он только что прошел. И перед собственной беспомощностью.

Наутро он был другим человеком. Не раздраженным, не злым – отсутствующим. Он механически пил воду из кружки, глядя в одну точку на столе, не замечая ее. Его движения стали замедленными, будто каждое стоило невероятных усилий. Он ушел в себя – туда, куда словами было не достучаться.

Вера поняла это безошибочно. И вела себя соответственно.

Она не спросила: «Что случилось?» Не сказала: «Может, отдохнешь?» Не попыталась утешить взглядом или прикосновением. Любое вторжение в его пространство сейчас было бы насилием.

Вместо этого она действовала тихо, почти невидимо. Она разогрела на печи оставшуюся с вечера густую, почти холодную гречневую кашу – до состояния чуть тепла, чтобы не обжигала рот, чтобы не нужно было дуть. Не стала варить яйца, которые вчера принесла одна из баб в благодарность за лечение дочери от горячки – яйцо нужно было бы чистить, и запах вареного белка был бы слишком плотным, бытовым, неуместным. Достала из хлебницы еще мягкий вчерашний хлеб – его не нужно было с силой отламывать или громко кусать. Налила в его кружку теплый травяной отвар – его можно было пить медленно, почти не ощущая.

Она поставила все это перед ним на стол без единого звука. Даже крышка чугунок легла бесшумно.

Потом вернулась к себе. Умылась остывшей водой из умывальника, тихо расчесала волосы, убрала их в тугий узел, надела тулуп, платок и валенки. Взяла свои школьные принадлежности и вышла из дома на час раньше обычного, тихо прикрыв за собой дверь.

Она дала ему то, в чем он сейчас нуждался больше всего: отсутствие. Пространство, чтобы переварить смерть. Тишину, в которой можно было снова собрать себя по кусочкам.

Оставшись один, он еще долго сидел над нетронутой кашей. В голове было пусто. Он знал, что она ушла раньше, чтобы не беспокоить его, и это знание, вместо ожидаемого облегчения, вызвало глухую, теплую боль где-то под ребрами. Он не хотел, чтобы она уходила. Он хотел, чтобы она сидела рядом. Молча.

*

В другой раз – через несколько дней после той страшной ночи – ко входу в амбулаторию снова примчались на санях. Мужик, с лицом, перекошенным от ужаса, внес на руках маленькую, тщедушную девочку лет пяти. Она была синяя, почти фиолетовая, задыхалась, издавая звуки, похожие на петушиный крик, ее глаза закатывались, показывая белки. Круп.

Илья, услышав отчаянный стук и крики, вышел из дома – в одной рубашке, несмотря на лютый мороз, с закатанными до локтей рукавами. Затем сказал ровным голосом не терпящим паники:

– В приемную. Быстро. Держи вот так, голову выше, не дави на грудь.

Он знал, что ему предстоит. За те несколько секунд, что он мыл руки, в памяти уже всплыли страницы из потрепанного учебника по оперативной хирургии. Рассечь трахею ниже гортани, избегая сосудов. Из инструментов – только скальпель. Анестезии нет. Ассистентов

нет. Только он, ребенок на столе и мужик, который будет держать собственную дочь, пока ей режут горло.

Вера сидела в горнице у печи, штопала что-то, не прячась, но и не выходя, не мешая. Она слышала за стеной его голос – тихий, уверенный, отдающий короткие, четкие команды самому себе или отцу. Слышала дикие, хриплые всхлипы и свист в горле ребенка.

Час тишины, нарушаемой лишь негромкими звуками – звяканьем инструментов, плеском воды, его шагами. Потом дверь амбулатории скрипнула. Мужик вышел, бледный как смерть, но уже не с тем безумием в глазах. Он остановился перед Ильей, снял шапку, поклонился не в пояс, а как-то по-особенному, глубоко, с достоинством:

– Спасибо, Илья Андреич. Живет... живет дитяtko. Дышит.

– Жить будет, – ответил он тем же ровным, усталым тоном, вытирая руки. – Через три дня зайду, посмотрю. Давать теплое питье, дышать паром над картошкой, держать на печи, но не перегревать.

Он вошел в горницу из амбулатории и встретился с ней взглядом. В его глазах не было ни гордости за спасенную жизнь, ни профессионального удовлетворения. Была только пустота после свершившегося факта. Руки его, только что спасшие жизнь, все еще дрожали – он сжал их в кулаки, чтобы она не заметила, но она заметила. Заметила и этот жест, и красные, воспаленные пятна на костяшках, и то, как он машинально потирал их.

И в этот миг она подумала:

«Он – не студент, что целовал меня у печки в Москве, в той прошлой, почти игрушечной жизни. Он – мужчина, который только что, вероятно, резал ножом горло задыхающемуся ребенку, чтобы тот мог дышать. А я... На фоне этой ежедневной, кровавой работы я – просто тихий груз. Как мне это оправдать?»

Тем же вечером, словно в ответ на этот безмолвный вопрос, она решила доказать и себе и ему, что может быть полезной частью этого мира. Приготовить не просто гречневую кашу или щи с соленой капустой из кадки, а что-то «почти как дома» – жареную картошку с хрустящей корочкой.

Она выбрала в сених самые лучшие, ровные клубни, без ростков и зелени, тщательно почистила, нарезала ровными, аккуратными ломтиками. Нашла в шкафчике чугунок, растопила в нем хороший кусок свиного сала, выложила картошку ровным слоем. Помня наказ Аглаи Ильиничны о «самом жаре», она перестраховалась и поставила чугунок не на край пода, а почти у самого устья, где тлело всего парочку поленьев. Но она не учла другого правила: сало должно шипеть и дымиться, прежде чем на него кладут картошку. А в слабом тепле оно только растопилось, не успев как следует разогреться. Ломтики, попав в теплый жир, мгновенно впитали его и прилипли к дну, образовав корочку, которая уже через пару минут начала не жариться, а тлеть и гореть.

Она отвлеклась на минуту – нужно было достать соль с высокой полки, куда не могла дотянуться без стула. И, пока она доставала соль, этот тихий, коварный процесс тления под спокойным с виду слоем картошки перешел в фазу открытого горения.

Она бросилась к чугунку, сдернула его с плиты рукой, обернутой в тряпку, – но было поздно. Картофель превратился в угольно-черную, дымящуюся, пригоревшую к дну намертво массу. Жир шипел и пенился, запах горелого стоял на всю избу, въедался в волосы, в одежду, смешиваясь с запахом карболки и сушеных трав.

Она стояла посреди кухни, держа в руках дымящийся горячий чугунок, и не плакала. В глазах был только холодный, острый стыд. Она боялась не его гнева, не крика – он был не способен на такую мелочность. Она боялась его молчаливого, ничего не говорящего взгляда, который мог бы означать: «Она пытается – и не может. Она никогда не станет своей здесь».

А она так отчаянно хотела доказать обратное – прежде всего самой себе.

В этот момент заскрипела входная дверь, впуская клубы морозного воздуха. Он вернулся с мороза, усталый, с покрасневшим от ветра лицом, с обледеневшими ресницами. Сбросил шапку, принюхался, и его усталый, но всегда бдительный взгляд упал на нее, замершую с чугуном в руках, и на черный, стелющийся к потолку дым, уже начинавший оседать сажей на стенах, на потолке.

– Подгорело? – спросил он спокойно, как будто спрашивал о состоянии больного или о том, закончился ли дождь.

– Сгорело, – выдохнула она, и голос ее дрогнул, предательски сдавшись. – Все. До углей.

– Покажи.

Она поднесла чугунок, чувствуя, как дрожат руки.

Он достал вилкой одну картофелину, сдул пепел, откусил – прямо из чугунка. Прожевал, проглотил.

– Ничего, – сказал. – Вкусно.

Она взглянула – в ужасе, в полном недоумении: «Как «вкусно»? Это же уголь!»

А он посмотрел на ее округлившиеся от изумления глаза, на ее бледное, испуганное, лицо, на след от копоты на щеке, на ее руки, сжимающие чугунок так, что пальцы побелели, – и вдруг улыбнулся. По-настоящему, по-доброму. Улыбкой, от которой разбежались морщинки у глаз. Его суровое, усталое лицо на одно мгновение преобразилось, стало почти мальчишеским – таким, каким она помнила его в Москве у ларька с бубликами, в те далекие, почти забытые времена, когда жизнь казалась простой, а счастье – возможным.

Она взглянула – и рассмеялась. Сначала – робко, неуверенно, будто пробуя смех на вкус после долгого перерыва. Потом – освобожденно, громко, как смеялась еще до смерти матери, до этих лет молчания и тоски.

Он засмеялся вслед – негромко, но искренне, и в избе от этого стало тепло.

Потом они вместе, уже без смеха, но и без напряжения, выскребли черную, липкую массу в ведро для помоев. Он держал чугунок, она орудовала ложкой, и когда последние остатки сгоревшей картошки отправились в ведро, он, уже совершенно серьезно, деловито, сказал:

– В следующий раз сначала хорошо прогрей чугун с салом, чтобы оно шипело. И в первые минуты не отходи – пусть картошка схватится корочкой и отстанет от дна. Потом можно будет встряхнуть и оставить.

Она кивнула. Слова его были просты, практичны, лишены какой-либо снисходительности. Он не учил ее жить – он делился знанием, как, вероятно, делились когда-то с ним.

Он ушел в амбулаторию. А она просто взяла тряпку и начала вытирать стол – медленно, тщательно, как делала все здесь.

К

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.